

Зорькина песня

Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по землянику. Огород наш упирался дальним прясом в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен, одна черемушка катнула под городьбу ягоду, и та взошла прутиком, разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Черемушку не срубали, и на ней птички вили гнезда.

Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за поскотину, на приречный луг.

А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно плыли встречь течению реки.

Неслышная днем, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотать, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась, измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом, речка: из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, на варево и парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но говор ее внезапно оборвался — прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась речка в крутые, седоватые валы Енисея, и голос ее сливался с тысячами других речных голосов, и, капля по капле накопив силу, грозно гремела река на порогах, пробивая путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку деревенской незатейливой речки на многие тысячи верст, и как бы живую жилой деревня наша всегда была соединена с огромной землей.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисее. Звук топора возникал на берегу, проносился поверх, минуя спящее село, ударялся о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпался многоэхо по распадам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по

распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, но летом утихомирился, и бурный его пугь обозначился до блеска промытым камешником.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть, провалиться в эту волокнисто-белую тишину. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку, по кустам переплетались камнеломки, повилика, дедушкины кудри. Мы запугивались в нитках цветов, и тогда из белых чашечек выливались мне за воротник и на голову студеные капли.

Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ, бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка и с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы да от дождя люди растут большие-пребольшие.

Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мякотью. Даже на изгибах Фокинской речки появились белые зачесы, видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоньше и тоньше раскатывало туманы, скручивало их валами в распадках, загоняло в потайную дрему тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со двора коровы, брякнули боталами, сделался слышен скрип ворот. Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появляясь в разрывах тумана, то исчезая в нем. Тень Енисея раз-другой обнаружила себя.

Тихо умирали над рекой туманы.

А в распадках и в тайге они будут стоять до высокого солнца, которое хотя еще и не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки, ночами насылающие холод и эти вот густые туманы, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, но с первыми звуками, с пробуждением людей убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались

студеными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и все живое, цветущее на земле.

Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и, плывя вверх, брели по нему, будто по мягкой, податливой воде, медленно и бесшумно. Вот туман по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов полоснуло ярким светом, празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят, в каждой травинке и былинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: “Тить-тить-ти- ти-ррри...”.

— Что это, баба?

— Это Зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки — зорянки, ответило сразу несколько голосов — и пошло, и пошло! С неба, с сосен, с берез — отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорька улавливала какие-то мгновения, отыскивала почти незаметные щели и вставляла туда свою сыпкую, нехитрую, но такую свежую, каждое утро обновляющуюся песню.

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал и запрыгал я.

— Зорька поет, значит, утро идет! — пропела благостным голосом бабушка, и мы поспешили навстречу утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьи голоса; нам низко кланялись, обомлевшие от росы и притихшие от песен, сосенки, ели, рябины, березы и боярки.

В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туесок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметававшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро, солнце, и Зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала,

звучала...

Да и по сей день неумолчно звучит.